

# Клюквин-городок

В России революция — вспыхнуло  
пламя и повсюду прошлося грозой.

Первый радостный снеж засыпал город, словно сетью крыл худоребрый лес,  
сеялся на соломенные головы деревень. В степных просторах потоки снега гонял  
вольный ветер, на сугробах играл ветруга зачесами гребней.

Дороги направо дороги налево снежный разлив...

На окнах настывали первые узоры.

Клюквин ликовал.

Фасады домишек были убраны ветками зелени и кумачовыми флагами. Где-то за пожарным депо взмывал оркестр. С окраин к центру кривыми узкими улочками лавиной стремились жители. С гиком мчались ребятишки. Вприпрыжку скакали озабоченные собаки. Широко, деловито шагали мужики. Задыхаясь, оправляя платки, бежали бабы.

— Заступница... Владычица... Идут.

— И то, идут... Батюшки, Дарьюшка, ох... Слава те!

— Куманька, сон-от мне...

Со стороны вокзала в главную улицу втягивался партизанский отряд Капустина. Дымились, всхрапывали приморенные кони. В седлах раскачивались чубатые партизаны — лица их были обветрены, забитые снегом черные папахи сдвинуты на затылки.

Через базарную площадь навстречу отряду со знаменами и оркестром двинулись железнодорожники, крюшники, ткачи, пекаря, кожевники, работники иглы...

— Мамка, гляди, гляди...

— Ээ, брат, силища-то, народу-то!.. Я сэстолько и на Ярдани не видал.

— Война... Этих лошадей да на пашню бы.

С тротуара стремительно метнулась пестрая юбка:

— Митрошенька...

Молодая женщина грудью ударила в волну лошадей... Задымленный ветрами горбоносый партизан перегнулся из седла, с лету подхватил ее под локоть и, посадив перед собою, под дружный одобрительный хохот стал целовать заплаканное смеющееся лицо.

— Ура, ура-а-а...

Задранные головы, распахнутые рты...

— Сват, Ермолай... Сват, дьявол те задери...

— А-а, мил дружок, садово яблочко... Жив?.. Грунька-то тут убивается, двойню тебе родила.

Старуха хваталась за поводья гнедого коня, глаза ее вспыхивали и притухали, ровно копеечные свечи под ветром...

— Михаил Иваныч!.. Не видал ли Петьку?.. Сынка? Михаил Иваныч — угреватый Мишка Зоб — рвал коню губы и с надсадой кричал:

— Не жди своего Петьку, Мавра... Вместе были... Петька, друг до гроба, под Казанью убили... — Зоб в сердцах урезал плетью пляшущего гнедка и ударил в переулок, к дому.

Старуха так и покатилась.

— Петенька... Батюшки... У-ух, ух...

Торжествующе гремел оркестр. Над городом волной вздымался гимн революции — вдохновенно звенели голоса женщин, согласно гудели баса, взлетая, сверкали детские подголоски. Боевая песнь колыхала, рвала сонную тишину городка.

На площади закипал митинг.

С исполкомовского балкона Капустин кричал в буран, будто спорил с ним:

— Волга — наша! Завтра нашими будут Урал, Украина, Сибирь! Генералы, купцы, фабриканты и всякие мелкие твари, сосущие соки трудового народа — где они?.. Тю-тю... Все вихрем поразметало, огнем пожгло! К Колчаку побежали за белыми булками, за масляными пирогами...

Передние колыхнулись в хохоте:

— У них с нашего-то хлеба брюхо лупится...

— Ваша благородия, хо-хо...

По всей площади густой рябью потянул гогот.

Спешившиеся партизаны топтались на мерзлых кочках, вполголоса расспрашивали о том о сем, рассказывали о последних боях под Симбирском и Самарой, слушали Капустина.

— Востроголовый мужик...

— Ну-у?

— Пра. А в бою жеще нет. «Ура» — и вперед!

— Капустин худого не попустит...

Ребром ладони Капустин рубил встречный ветер, глазами вязал толпу и громко говорил:

— Революция, свобода, власть... Заварили кашу, надо доваривать! Замахнулись — надо бить! Врагов у нас — большие тыщи!

С севера, из рукавов лесных дорог, сыпались обозы со штабами, ранеными. С далеких Уральских гор задирала сиверка. Остро посвистывал жгучий, как крапива, ветер. Хмурь тушила день, садилось солнце на корень.

Ночью покой притихшего городка охраняли патрули — кованым шагом они гулко били в мерзлые доски тротуаров, от скуки постреливали в далекое звездное небо. На базарной площади, на стыке трех больших улиц, пылал костер. Сонные дряблые лица огонь наливал дурной кровью. Вяло вязались солдатские разговоры, по кругу из рук в руки переходила махорочная закурка.

Ржавыми гвоздями визжала обдираемая обшивка лабазная.

— Накинь, Петров, накинь, разгони тоску.

Петров крошил в костер трухлявые доски, переливчато с захлебом чихал, припав на корточки, вертел закурку из сорванного с забора приказа, затягивался и начинал:

— В некотором царстве, в некотором государстве жил-был поп. Было у него не мало, не много — восемь дочек. Нагуляны девки, пшеничный кусок. Поп

возьми, да и найми себе работника Чеголду. Ладно, и вот, в одинажное время...

Сказка тонула в чугунном гоготе простуженных глоток.

Темнота ночи редела. Старый солдат Онуфрий бодро отбивал часы на каланче. Обтянутый серыми заборами город закипал с краев. Чуть светок, слободка на ногах. У колодцев бабы гремели ведрами. Мычал гудок в депо, откликался жиденский и дребезжащий с лесопилки, дружно подхватывали мельничные и мощным ревом вспугивали дрему утра. Ежась от свежего ветерка, торопливо шагали рабочие с узелками и мешочками, перекидываясь шутками и незлой руганью.

Бок о бок с макаронной фабрикой, в тяжелом доме купца Савватеева Гречихина под утро кончалось заседание ревкома. Гильда протоколировала: охрана революционного порядка... национализация и учет предприятий... пособия семьям погибших партизан.

В угловой комнате лохматый сынушка купца Гречихина, Ефим Савватеевич, строчил воззвание к трудящимся Крюквинского уезда — искры из-под карандаша летели.

Ефим — художник и артист. Смолоду на чужой стороне скитался, громовое отцово проклятие на шее носил. Революция подсекла старика под корень: два магазина отобрали, маслобойку, рысак Голубчика среди бела дня со двора увели, родовые дедовы сундуки растрясли. С горя удавился старик. Погребали его по кулугурскому обычаю, на дому, с гнусавым многоголосым пением кулугурских попов. Вскоре откуда-то из теплых краев явился и Ефим с клетчатым чемоданом на горбу: по родным местам стосковался, по сытному ржаному хлебу, по говяжьим — с мозговой костью и мучной подболткой — щам, кои варить по-настоящему только на Волге и умеют. Мотал уцелевшие отцовы дохи и столовое серебро, мазал картины, ходил на охоту. Переворот, чехи, мобилизация. На войну Ефима не манило. Перешел на положение дезертира и перебрался на жительство на городскую окраину, к старому отцову приказчику Илье Ильичу Хальзову. Скучно жил. От скуки однажды и на собрание приказчиц пошел. Там познакомился с Гильдой. Потом они встретились еще два в городском саду, и любовь накрыла их своим блистающим крылом. Гильда работала в подполье. Он не знал этого и немало дивился ее занятости и постоянной беготне по домишкам рабочей слободки.

— Что у тебя, родни в городе много? — спрашивал он.

— Да, — смеялась она, — много родных.

— Чудеса... Ты сама-то ведь, кажется, из Риги?

— Молчи, дружок. Потом узнаешь.

Вся подобранная и свернутая, как аккуратная лошадь, она удивляла его своей замкнутостью. Энтузиазм молодости был запрятан в ней, как огонь в кремне. И стриженую русую головку, и строгий смуглый профиль, и точеную фигуру — всю ее любил Ефим. А в Гильде мерцала память о рижской гимназии, о большом немецком театре, о прочитанных романах... Ефим — художник, артист, поэт, и талант его, верилось ей, так же широк, как широки его плечи. Как не любить Ефима?..

Близилась дни победы. Однажды, в звонкую осеннюю ночь, взявшись за руки, они до рассвету гуляли по саду, и Гильда, желая сказать ему что-нибудь очень хорошее, вдруг выпалила:

— Знаешь, я большевичка... работаю в подпольной организации...

Он встретил эту весть равнодушно и пробормотал:

— Поскорее бы война кончилась... Я увезу тебя в Крым, на Кавказ, там есть такие чудесные уголки...

...В комнату вошла Гильда и заглянула ему через плечо:

— Ого, расписался... Не думаешь ли ты строчить целую поэму?

— Не беда, мужик большой разговор любит.

— Подумай, Ефимчик, как чудесно. Город наш! Какие у всех сегодня были лица, глаза!.. — Уперев руки в боки и встряхивая бурей светлых кудрей, она протанцевала по комнате и упала в кресло, закрыла глаза — С ног валюсь...

— Новости есть?

— По фронту — гоним... На днях исполком ждем... Пока мне поручено вербовать инструкторов и агитаторов... Ефимчик, родненький, думаю, ты не откажешься в деревню махнуть?

— В какую, к черту, деревню?

— Ну, объедешь волость, другую, агитнешь по выборам в сельсоветы... Так мало своих людей... Я на тебя рассчитываю.

— Я бы не прочь, но...

— Не беспокойся, инструкциями наградим.

— Я не о том, — оборвал строку, — я буду так скучать... Пламенный вихрь испепелит меня...

— Поддай в партком заявление, не могу, мол, ехать — влюблен... Кстати, с завтрашнего дня объявляется партийная неделя, вербовка новых членов... Надеюсь, ты... — Она замялась.

— О, да, да! — подхватил он. — В душе я всегда чувствовал себя коммунистом, хотя в партийных программах плохо разбираюсь... Ну, да это пустяки. За тобой, голубка, я готов пойти и в рай и в ад... Прислушай вот.

Бойко прочитал воззвание.

Гильда расподдала всю: много эсеровской фразеологии — «сермяжное крестьянство», «свободный народ»; много непонятных для деревни слов; указала места, на которые нужно упереть; подсказала несколько лозунгов и, свернувшись в кожаном кресле калачиком, покатила в сон, словно в яму, полную черного пуха.

Ефим начисто переписал воззвание, швырнул карандаш и на цыпочках — к креслу. Крупно выписанные, пухлые губы тихонько окунул в ее русые волосы...

— О, моя радостная песнь, жидким пламенем поцелуев я налью твою душу до краев, через края...

По коридору загремели мерзлые копыта, в дверь — по-деловому, кулаком:

— Эй... Барышня латышка тут проживают?.. На собрание!

— Фу, черт... Ти-ше.

В дверь — папаха, усы:

— Барышня латышка?.. В бахрушинский дом на профсоюзное собрание... Целый час ищу, наказанье господне.

Заборы ломились под тяжестью приказов: «На военном положении... впредь... строго... пьянство... грабежи... виновные... на основании... вплоть до расстрела». Дольше других задерживало воззвание: «Товарищи и граждане, наш уезд одна трудовая семья. У нас общие интересы. Мечта сбылась! Все в коммуно!» Воззвание было отпечатано в ста тысячах экземпляров и разослано, как на то последовало из губернии разъяснение, «по печальному недоразумению».

У клюквенских жителей, никогда не отличавшихся особой отвагой, от приказов и подобных воззваний голова шла каруселью. Зять не узнавал шурина, свекровь — невестку, сват — брата. Подозрительно озираясь друг на друга, торопливо расползались обыватели по своим берлогам.

Единственный в городе автомобиль круглые сутки считал ухабы: комендант, ревком, чека, вокзал, телеграф, ревком, чека... На Сенной площади митинг подвод. За город гужом тянулись воза с лесом, железом, коровьими тушами, буханками мерзлого хлеба, — об эти солдатские булki топоры зубрились, — хлопали кнуты и ругань, пересобаченные лошаденки в нитку вытягивались. На речке Говнюшке поднимали уроненный белыми мост.

Торжественно, в потоке музыки прибыл исполком старого состава. Ревком передал исполкому «всю полноту власти».

Машина заработала на полный ход.

Со двора на двор пошли комиссии по реквизициям, конфискации, обследованию, учету, регистрации, с переписью, обысками и розысками. Спешно переименовывались улицы: Бондарная — Коммунистическая, Торговая — Красноармейская, Обжорный ряд — Советский. Вшивую площадь и ту припочли, — сроду на ней галахи в орлянку резались, вшей на солнышке били. Заведующий отделом управления, вчерашний телеграфист Пеньтюшкин, большой был искусник на такие штучки. Полулюноша, полупоэт, он всегда изнывал от желания творить: то подавал в чека феерический проект о поголовном уничтожении белогвардейцев во всероссийском масштабе в трехдневный срок; то на заседании исполкома предлагал устроить неделю повального обыска, дабы изъять у обывателей излишки продуктов, мануфактуры, обуви; то представлял в совнархоз проект постройки гигантского кирпичного завода; то посылал в губернский город донос на местного комиссара здравоохранения, который, по слухам, и т. д. Даже самые глухие и жителями забытые переулки — Заплатанный и Песочный — были переименованы в Дарьяльский и Демократический. В последнее время Пеньтюшкин, не досыпая ночей, лихорадочно разрабатывал проект о новых революционных фамилиях, которыми и думал в первую очередь наградить красноармейцев, рабочих и советских служащих. Он всегда боялся, чтобы кто-нибудь не перехватил его идей, и чрезвычайно неохотно посвящал в свои планы даже друзей.

Облезлые фасады купеческих магазинов лихо перечеркнули красные вывески:

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ № 1

СКЛАД СНАБАРМА

РАЙРЫБА

На главных перекрестках ровно столбы вросли в землю милицейские. Большаком и проселками, дымя морозной пылью, как на пожар, поскакали инструктора, сотрудники, чекисты, нарядчики, курьеры, продовольственники и

бравая уездная милиция. Начальник милиции Зыков рапортовал отделу управления: «Всецело соблюдая нравственную сторону вверенных мне милиционеров, и дабы привить им воспитательные качества, специальным приказом я отменил пагубную привычку к матерщине». Пеньтюшкин похвалил его.

Ночами бежали из города с возами скарба люди, обиженные революцией, почему-либо не успевшие отступить с чехами. В деревне они надеялись укрыться от гроз и бурь. Двинулся в глубь уезда, с документами народного учителя, и колчаковской армии поручик эсер Борис Павлович Казанцев, оставленный своей организацией для подрывной работы в советском тылу.

Прифронтная полоса, в городе две власти — гражданская и военная. Исполком как исполком. Начальник гарнизона офицер Глубоковский усат, багров, рычащ. На семейных вечеринках лихой танцор широчайшими малиновыми галифе разметал дорогу к сердцам красавиц. Никто так — с ветерком — не умел проехать по городу на казенной паре, и не кто иной, а он, Глубоковский, на зависть Пеньтюшкину придумал танец «За власть Советов» и хорошим знакомым по секрету сообщал, что разучивает новый вальс «Слава Красной Армии».

Приезжие мужики спозаранок набивались в исполкомовский коридор, разглядывали приказы по стенкам, тихонько, будто в церкви, разговаривали и следили пол лаптями. Звякая ключами, отхаркиваясь руганью, приходил дворник Адя-Бадя:

— Что не с полночи пришли, дьяволы косолапые... Вишь, наследили, медведи.

— Не лайся, старик, мы не за чем-нибудь, мы по казенному делу.

— Иди, иди, не огрызайся! — и метлой выгонял мужиков.

С пожарной каланчи на город падало десять дребезжащих ударов... Исполком наполнялся гулом голосов, треском телефонных звонков и болтовней машинок. Мужики лазили с этажа на этаж, из отдела в отдел, из комнаты в комнату. На мужиков, как кошки, фыркали барышни; секретари щупали тощие мужичьи карманы; величественные завыватели восседали на инструкциях, схемах и проектах, в которые, по самым точным расчетам, изъязвленная жизнь должна была войти, как нога в лакированный сапог.

В красном зале, тесно заставленном свезенными сюда со всего города пальмами, расширенный пленум совнархоза знакомился с докладом Сапункова о состоянии уездной промышленности.

Не так давно Сапунков, — одна кудря стоила рубля, а всего и за сотню не купишь, — краснощекий молодец, красовался за прилавком пшеничника, купца Дудкина. Парень не дурак, услужливый и почтительный, до хозяйской копейки старательный, не чня другим, про которых говорилось: «Приказчик гривну хозяину в ящик, полтинник за голенищу». По узким тропам хозяйского доверия он упорно пробирался в душеприказчики, помаленьку сбрасывая с себя азиатчину, поддевку и плисовые шаровары променял на куцый пиджак с сиреневым галстуком и разговором обзавелся обходительным. Дудкин откупил его от солдатчины, обласкал, пустил в свой дом и прочил поженить на прокисшей в девках старшей дочке Аксины. Так бы оно, пожалуй, и было, но подспела революция и вышибла у старика Дудкина из рук сразу всех козырей. А умному человеку и при революции жить можно. За полгода купцов приказчик перебивал в эсерах, анархистах, максималистах и перед Октябрем переметнулся

к большевикам. Большевиков в Клюквине насчитывалось худой десяток, да и то половина из них были неустойчивые или малоподготовленные и на какой-нибудь иезуитский вопрос противников вроде: «Скоро ли в Германии наступит революция, если заключим с ней мир?», не смигнув, отвечали: «Через неделю». Произведенный в лидеры Сапунков вечерами аккуратно ходил на Сенной базар, место сборищ, всячески поносил буржуазию и ее охвостье, покидал митинг последним, порой под утро. Помалу образовывалась жизнь, образовывался и парень: забросил сиреневый гастук, обтянулся френчем; Аксинью сослал на кухню и женился на младшей Дудкиной, Варюше; стариков, вчерашних своих благодетелей, тоже ни разносолами, ни словом ласковым не баловал и держал на собачьем положении. И совсем бы прогнал тестя, да знал, что купцом где-то в саду зарыт клад. Вначале Сапунков жаловался товарищам: «Язык не позволяет мне быть интеллигентным», но через год и это препятствие было преодолено. За год прочитал, по его собственному утверждению, десять пудов книг, листовок, воззваний и теперь в любое время и на какую угодно тему мог сделать многочасовой доклад. От неумеренного потребления печатного слова притупились его глаза, выцвел румянец, и в этом, похожем на перелицованное пальто, постаревшем человеке никто из клюквинских жителей не признавал краснощекого кудрявого молодца, волчком вертевшегося по хозяйской лавке или в часы досуга беззаботно травившего базарных собак...

— Взято на учет, — докладывал он пленуму, — около сотни предприятий, из которых одна ткацкая фабрика вырабатывает в месяц двадцать тысяч аршин сукна и столько же мешочного холста; мельницы наши в день могут пропускать до семидесяти тысяч пудов зерна; перспективы товарообмена...

Гладко выходило особенно насчет «перспектив», но когда в докладчика полетели тяжелые, как булыжники, вопросы, требующие немедленного разрешения — он замялся, засморкался, предложил вызвать преда... Председатель исполкома Капустин вошел, на ходу что-то прожевывая, на ходу с кем-то поздоровался и, не дослушав до конца задаваемых вопросов, стал отвечать на полный мах; все было продумано и подытожено раньше: сырье на подборе, госснабжение никудышное, денег нет — после белых в казначействе остались одни дрожжевые бандероли, полученные из губернии грошовые ассигновки будут ухлопаны на ремонт тех же предприятий... Резолюция пленума: «Поднять дух масс. Выделить для руководства предприятиями лучшие силы. Навалиться на буржуазию и кулаков с внеочередной контрибуцией».

Кабинет преда.

Над бумагами склонилось тяжелое, мужичье, будто круто замешанный черный хлеб, лицо Капустина. Все дела, и большие и малые, он делал с одинаковой неторопливостью, со спокойным азартом. Хозяйственно обмозгует, смечет на живую нитку и тут же, следом, схватится наглухо гвоздить: никакое дело от рук не отбивалось. В доме коммуны, где жили почти все ответственные работники, комната Капустина всегда пустовала: в исполкоме он работал, ел и спал. Голос у него был размашистый и сочный — заговорит, заматерится — сквозь все стенки и этажи слышно... Машинистки кудахчут, чернильные мыши попискивают, а он, знай, садит, ровно дюймовые гвозди заколачивает:

— Ты что же это, пес лохматый, опять качать взялся?.. Ты понимаешь в какое время живем?..

Член президиума, пекарь Алексей Савельич Ванякин, топтался у двери, до колен свесив багровые кулаки и виновато уронив сидящую голову. Смолоду он пристрастился к винцу, и никому, кроме жены, пьянство его не было в досаду — вся слободка пила. Новое время, новые и песни. Революция требовала от слободки людей с трезвой мыслью и твердой рукой. От многолетнего пьянства голова пекаря тряслась, а слезящиеся, налитые мутью глаза его совестливо моргали:

— Прости, Иван Павлыч, слабость наша.

— Когда же будет конец твоей пьяной картине?

— Чего уж там...

— Гляди.

— Вот те крест, Ванюшка, завяжу.

— Сколько раз зарекался?

— Завяжу... Да ежели теперь возьму утильную каплю в рот, в глаза ты мне наплюй.

— Ну, ладно. На-ка вот декрет про чрезвычайный налог, он короткий и темной массе сильно непонятен. Так ты того, разведи его пожиже, разъясни на самом простом, обывательском языке, что за налог такой...

— Я... Сам знаешь...

— Малограмотен? Полбеды. Буржуев одолели, одолеем и грамоту. Главное вникни в декрет, обмозгуй. Пусть секретарь слова твои запишет, а потом вместе разберемся.

Налитый горьким раскаянием, загребая ковер непослушными ногами, Алексей Савельич уходил... На своем столе с тоскливым отчаянием он перебирал ворох бумаг: читать умел только по печатному, скоропись разбирал туго. Потом ругался с шайкой оборванных солдат, вломившихся в исполком с требованием наградных за взятие Уфы; или звонил, без конца восхищаясь диковинным устройством телефона, звонил в чеку к приятелю Никифору Сычугову, и меж ними перекидывался примерно такой разговор:

— Ты, Никишка?

— Я, Лексей Савельич. Здравствуй. Как живем?

— Да ничего. Вы как?

— Мы тоже ничего. Что новенького?

— Да ничего... У вас как?

— У нас тоже ничего... Ночью колчаковского офицеришку шлепнули.

— Дело не плохое... А меня опять сам лаял.

— За пьянку?

— За нее за самую, будь она проклята.

— Тебя бить надо.

— Меня? Правильно.

— Заходи вечером, поговорим.

— Ваши гости.

— Принеси проса хоть горстей пять, второй день голуби не кормлены.

— Ладно.

- Тебе хорошо слышать?
- Так себе, будто таракан в ухе.
- Ежели спонадоблюсь, звони.
- Обязательно... И ты звони.
- Я-то позвоню.
- Прощай, Лексей Савельич.
- Прощай, Никишка.

С довольной улыбкой Ванякин бережно вешал трубку, но, увидав франтоватого секретарька, ожесточался и, повышая голос до крика, на самом простом обывательском языке пересказывал очередной декрет, добавляя от себя или о выселении буржуазии из особняков, или о козьем и коровьем молоке, которое через квартальные комитеты бедноты предписывалось «всецело и по совести делить между всеми детьми советского города Клюквина».

В первое же воскресенье Ванякин напивался наново, катался по городу на исполкомовской паре с гармонью, с песней. Разгуливающие по главной улице жители шарахались к заборам и шипели:

- Комиссары... Комиссарики...

Приходили из деревень ходоки, комбедчики, председатели сельсоветов. Капустин запирался с ними в кабинете, угощал чаем с сахарином, подробно выспрашивал о мелочах деревенского житья-бытья, на прощанье тряс дубовую руку делегата и, если это был человек свой, напутствовал:

— Подкручивайте кулакам хвосты!.. Без кулака и буржую городскому не воскреснуть... Себя блюдите пуще глазу — чтоб ни пьянцовки, ни разбою не было... Помни: у нас простонародная революция... Держи уши вилкой и стой на страже!

Каждый день нависали над исполкомом конфликты.

Случилось на трое суток задержать приварочное довольствие гарнизона. Глубоковский с караульной ротой обошел склады упродкома, посбивал замки и все запасы мяса, сала, круп перебрал в комендантское управление. Продовольственный комиссар Лосев прибежал в исполком в истерике. Капустин успокоил его, как умел. Совместно составленную жалобу послали в губернию. Не успел Капустин утереть продкомиссаровских слез, как с телеграфа работающий там партиец принес копию только что посланной военной телеграммы:

Начснабарму

Мероприятия военвластей заготовке продовольствия встречают упорное сопротивление стороны тыловиков, которые сплошь питают ненависть представителям армии. Прошу полномочий необходимых случаях применять оружие. Жду санкции реквизиции вина для нужд армии.

Капустин спрятал телеграмму в карман и велел немедленно вызвать к себе председателя чека Мартынова.

На фабрике без движения хранилось полмиллиона аршин сукна. В губсовнархоз и центротекстиль не раз посылались отношения с просьбой разрешить пустить часть уже начавшего преть сукна на товарообмен. Центры хранили упорное молчание. Сапунков в счет зарплаты выдал рабочим по пяти аршин. Из губернии спешная депеша: «Сукно отобрать, виновных в выдаче за расхищение народного достояния привлечь к суду ревтрибунала». От рабочих

делегация: «Сукна у нас нет, в деревню снесли, променяли». Перепугавшийся насмерть Сапунков прибежал в исполком. Капустин и этого успокоил.

Руководитель работ по восстановлению моста, инженер Кипарисов, в деловом разговоре по какому-то поводу назвал продкомиссара генералом. Лосев инженера — скотом. Тот, не желая остаться в долгу, обложил его по-русски. Тогда юный продкомиссар порвал ордера на снабжение рабочих, вытолкал собеседника из кабинета и будто крикнул: «Хам». Инженер настроил письмо в редакцию, подал заявление в чека, пожаловался своему военному начальству и к концу рабочего дня бледный от негодования прибежал в исполком...

— Поймите, какая наглость... Я со студенческих годов болел интересами народа... Он оскорбил во мне все лучшее, все святое...

Капустин пообещал достать ордера на продукты и сейчас же, в присутствии инженера, позвонил Лосеву:

— Послушай, что там у вас вышло с товарищем Кипарисовым? Нельзя же так...

— Он не товарищ, а беспартийная тварь, — прокричал тот, — такую сволочь давно бы следовало к стенке поставить... Он...

Капустин повесил на крючок трубку:

— Видите ли, инженер, Лосев извиняется и сожалеет о происшедшем... Он у нас заработался, нервничает, ну и... стоит ли вам на мальчишку внимание обращать?.. Поезжайте-ка, кончайте работу, а продукты завтра утром пришлю...

Помимо подобных конфликтов жалили мелкие недоразумения с проходящими воинскими частями, с железнодорожным начальством, с заградительными отрядами, реквизициями, арестами и проч.

Недохваток людей, скудость агитации и невязь с местами чуть не подломили уездный съезд советов и комбедов. Наехали и бедняки, и кулачки, и кулачишки, и капитал-кулаки всех сортов и мастей. Программа — обух: «Долой контрибуцию, долой разверстку, дай соли, дай гвоздей». Съезд — рычаг, от которого зависел успех продкампании, всяческих заготовок, мобилизаций. Комитет партии послал к делегатам двух агитаторов. Делегатское общежитие в казармах: железные печки, угарный дым, сушились портянки.

— Здравствуйте, товарищи, — в один голос сказали двое присланных.

Дружное молчание.

— Как живете?

Нехотя, через силу:

— Живем, декреты жуем... Двое дён животы дрогнут... Пустое дело — кипяток, и того нет, не сготовили, не додумались... Эх, власть, эх, управители...

— Дорогие товарищи...

— Пустое дело кипяток, плюнуть раз... И трактиры опять же разорили... Захлебнуться нечем.

— Дорогие товарищи...

— Дорогие... У нас мозоли на руках, а у вас на языках...

Угарная махра, угарные разговоры до самого дня открытия. Разговоры разговорами, а чайком так и не распарились мужичьи кишки, так и дрогла в холодной казарме сотня ржаных персон, глотая дым и казенный суп жиже дыму. Лошадям делегатским и тем почету не было — десяток под навесом, а остальные

гнулись на юру, склонив унылые морды над гнилым военкоматским сеном. Организовать все это как-то никому и в голову не приходило, а Капустин был в отъезде. Растерявшийся Сапунков побежал на телеграф.

«Срочная шифрованная губком копия губисполком. Ключевинский уезд один из богатейших. Условиях кулаческого окружения работа чрезвычайно трудна. Налог местами сорван или проходит вяло. Наложено двадцать пять миллионов собрано пока три. Завтра открывается уездный съезд настроение ненадежное есть опасения срыва. Немедленно высылайте ответственного товарища для проведения съезда».

Ответ:

«Вся ответственность проведения съезда возлагается на учком и президиум исполкома. Случае срыва единовременного чрезвычайного налога или продкампании будете отозваны преданы суду. Через неделю пришем на постоянную работу Павла Гребенщикова».

Съезд открылся многоречивым докладом Сапункова о международном положении. Половина делегатов — в коридорах. В сортире — фракция кулаков.

— Свет в окошки... Га... Ровно у нас неисчерпаемый родник.

— Только и выглядывают, кто слабо подпоясан... Упрись, православные.

— Выходит, дело борона...

Выручил вернувшийся из Москвы Капустин. Угодил в самый кон. Словом о слово ударял, огонь высекал: умел он о самом заковыристом сказать просто и убедительно.

Зал притих, засопел с присвистом, слушая простые и страшные слова о голодающих городах и разоренных войною целых областях, о красном фронте и задачах советской власти.

Саботаж был сломлен, кого надо уговорили, кого надо заставили, но постановления протащили целиком. В новый исполком были выбраны пятнадцать коммунистов и трое сочувствующих.

Без четверти восемь. Последние пятнадцать минут Гильда лежала с распахнутыми глазами, вспоминала о делах вчерашних и сегодняшних. Обуревали сомнения насчет методов преподавания политнаук, насчет целесообразности пичканья рядовых партийцев отвлеченными теориями, когда они не умели провести собрания или не могли толком объяснить, почему введена хлебная монополия.

Часовая стрелка срезала цифру 8. Гильда выпрыгнула из теплого гнезда постели и, шлепая по крашеному полу босыми ногами, побежала к умывальнику. Сквозь захватанное лапой мороза окно просекались острые глаза январского солнца. Гильда, ровно утка, полоскалась в тазу и косила резвую, как лунная вода, улыбку на Ефима:

— Довольно дрыхать, вставай.

— Не хочу, — буркнул сердито.

— Что с тобой?

— Ты опять сейчас за свои конспекты засядешь?

— У меня вечером доклад.

— Когда они кончатся?

— Кто?

— Доклады?

— Дурак... Господи, и почему ты такой... глупый?

— Доклады, собранья... В сущности, чужим людям ты даришь все время, мне же...

— Как чужим?

— Не суть важна... Приходишь домой усталая и валишься спать... Мне же, ровно нищему, бросаешь лохмотья минут... В моей душе рвутся бастионы любви, остывающий пепел летит на наши головы...

— Перестань комедиантничать... Если бы ты видел мой слободский кружок! Рабочих! С какой жадностью они тянутся к знанию! Ведь это для них все ново! Работа с ними для меня праздник! Если бы ты мог понять... ты не стал бы бить меня палкой по ногам. — Стремительно сдернула с него простыню и плеснула ледяной водой. — Вставай!

Запыхтел гневно и с головой завернулся в одеяло.

Гильда быстро оделась, завела примус и — за стол... Но строчки летели и гасли, как капли дождя на песке, мысль рикошетила в Ефима... Первые дни и ночи, первые сладостные стоны... Летели сны светлые и легкие, как осенняя вода... Ефим был ласков и нежен, мчалась пылающая карусель его восторгов. А она? В ней сердце кричало петухом... Бегала, земли под собой не чуяла. Но — дерево осыпает осеннее перо, скоро осыпались и расписные деньки... От слез у любви линяют глаза, перестают различать краски и подбирать цвета... Ефим стал раздражителен и груб... Отчего? Неужели и у них все идет так, как всегда и у всех?... Как пишут в глупых романах?... Ефимчик, он был такой хороший... Захотелось подбежать, растормошить, зацеловать... Жарко покраснела, решительно распахнула книгу и потемневшими глазами начала рубить строчки, будто молодая лошадь хрупкий овес.

...Ефим, напевая: «В трагедиях героев ждет могила, в комедиях их цепи брака ждут», неторопливо шел улицей, радовался морозу, снегу, блеску дня. Ветром намытые сугробы сверкали под солнцем. Сытые сизари ворковали под крышами. «Самое время по озерам бы пошляться, блёсен нет и купить негде. Схожу-ка в слободку к Тимошке Ананьеву, пропалой рыбак, должны у него блёсны быть...»

На каланче старый солдат Онуфрий бодро отбивал часы.

На углу широкое грязное окно продовольственной лавки было сплошь уклеено объявлениями, словно сентябрь багряным и седым листом. Хвост очереди загибался в переулок, бабы ругались:

— Ирод бумажек-то сколько налепил... Подумаешь, невесть что...

— Нда, бумажек много, а получать нечего. Насчет селедок-то будто старая записка болтается?

— Свободна вещь. Может, и мерзнем зря?

Заведующий лавкой, стекольщик Кашин, старые объявления не срывал, а новые все подклеивал, а бабы плутали в них. Более смекалистые ребяташки могли безошибочно сказать, какой записке неделя, какой — две.

— Фефелы, примечай, побелели чернила, значит старая... Нечего тут и стоять, носами шмыгать...

Ефим почитал безграмотные каракули, залепившие окно, порадовался на игравшего с собакой мальчишку: пестрая дворняжка с разбегу стремительно опрокидывала мальчишку в сугроб, рвала на нем лохмотья, кружилась над ним, как ошалелая, потом отбегала, наслаждаясь созерцанием своей победы, зарывалась мордой в снег и, отфыркиваясь, заливалась собачьим смехом.

Около исполкома — сборище.

Преподаватель пластических танцев мосье Леон и племянница заводчика Лидочка Шерстнева работали в счет трудповинности. Француз по шинели подпоясан веревкой, на ногах вместо лаковых башмаков опорки; от прежней роскоши у него остались одни пышные усы, даже в такой неподходящей обстановке сохранившие довольно привлекательный вид. Торопливо взмахивая пешней, скалывал лед с тротуара. Лидочка, обнимая метлу рукавами — замерзли ручки, — гнала ледяные крошки на дорогу. Не по росту длинное, с чужого плеча пальто путало ее шаг. Работающих широким полукругом обступали деревенские мужики, похожие друг на друга, как пеньки. Подходили все новые и новые — в тулупах, с кнутами — подводчики.

— Глянь-ка, Ванька.

— Что тут за ярманка?

— Э-э-э...

— Во, деляги.

— Буржуи, стало быть?

— Они, старик, они самы.

— Кхе, вроде насмех?

— Какой тут смех, слезам подобно.

— Чудно...

— И я баю, чудно дядино гумно — семь лет хлеба нет, а свиньи роются.

— Бабам и тем спуску не дают.

— Под один запал.

— Кака бела да аккуратна...

— Пава... Дочка Шерстнева, слышь.

— Ну?

— Вот те крест.

— Ермолай, гляди, девка-то чего выделявает!

Подводчиков распирало от смеху. Хлопали большущими, как коровьи ошметки, рукавицами, толкались, тузили друг друга по бокам — грелись.

По дороге за возами бежали, дымились морозом ломовики. Которые смеялись, которые ругались непристально:

— Тетенька, ягодка, метлу-то не за тот конец держишь...

— Задрррррогла, моя раскррррасавица...

— Легче, барин, легче, погана кишка лопнет!

— Го-го-го-го-го...

Из-за угла вывернулся длинный обоз бочек. Передовым ехал барышник Люлин Илья Федорович — пророчья борода, первеющий барышник по всему уезду, скот гуртами скупал — шапку на нос насунул, не глядит, не мил ему белый

свет. За ним, крепко вбивая шаг, шел кривой околоточный Дударев — гроза всех клюквинских шинкарей и запивох, — ковырял мужиков, как заржавленным гвоздем, мутным глазом. Помахивая мочальным кнутом и кротко улыбаясь, восседая на своей бочке протодьякон отец Дивногорский — еще до революции за толстовское вольнодумство был он отлучен от церкви и из города губернского прислан на жительство в Клюквин.

Ободренные, зачумленные лошаденки еле мотались в оглоблях. С лаем, свистом и криками обоз провожали слободские собаки и мальчишки, готовые от усердия через пупок вывернуться:

— Дяденька, не макай куском в бочку, комиссару скажу!..

— Дядюшка, плюнь кобыле под хвост!

Мужики кнутами отогнали собак и мальчишек. В темных обветренных лицах тихим смехом искрились глаза.

— Штука...

— Вот ты и думай... Не одних нас большевики встречь шерсти гладят.

— В серой-то шапке никак зятек Поваляева будет?

— Похоже.

— Лабаз какой, дом под железом, жить бы да радоваться...

— Не говори, сват.

— Аяй... Грязную бочку... И выдумают же, черти, а-ха-ха...

— Конфуз-то, чаю, уши вянут.

— Конфузно в чужой карман залезть.

— О-хо-хо...

— Без милости.

— Штука с мохорком...

— Савоська, не пора ли лошадей поить?

Ефим помнил Лидочку еще с гимназии, когда-то увлекался ею, в любительском кружке оба ходили в заглавных ролях. Годов пять уже не видел ее, но сейчас узнал с первого взгляда. Нерешительно подошел, приподнял шапку. Она не знала, куда деть метлу, поправила выбившуюся из-под платка каштановую прядь. Дрогнули ее посиневшие губы.

— Ефим... Ефим... Товарищ... не знаю, как вас...

— Все равно, — бледно усмехнулся он, — здравствуйте.

— Ефим Савватеич, дорогой... Это же такой ужас... Я ни в чем не виновата... Я согласна на все, буду служить, трудиться... Пожалейте меня, я вас умоляю.

— Я бы от всей души, но... вы понимаете?

Мужики подошли вплотную, бесцеремонно слушая разговор. Смущенный Ефим улыбался, вертел в руках шапку...

— Я бы с радостью...

— Умоляю... У вас столько товарищей... Вы и сами, кажется, коммунистом стали...

— Да, да...

— Нельзя ли как-нибудь?

— Постараюсь... Честное благородное слово... Пока до свидания.

— Всего доброго. — Лидочка растерянно и умоляюще улыбнулась. — Шапку наденьте, Ефим Савватеич, простудитесь.

Пришел пропадавший на целый час конвоир и, подмигнув подводчикам, скомандовал во всю глотку:

— Смирна, по фронту равняйся! Шабаш, вшивая команда, отдыху вам десять минут с половиной.

Леон и Лидочка присели на поваленную тумбу.

Ефим еще раз поклонился и, подняв воротник, пошел через площадь мимо похожей на виселицу, выстроенной к торжествам арки... «Девочку нужно спасти... Зачем? Так... К кому бы торкнуться?.. С Гильдой разве поговорить?.. Не стоит, — женщина все-таки, черт знает что может подумать... Заверну-ка к Гребенщикову, человек он новый, авось...»

...Уком во весь второй этаж.

Павел Гребенщиков молод, огромен, лохмат.

Его тесная комнатуха была обкурена, обжита; пахло в ней здоровым духом — псиной, молочным жеребенком, рассолом. Стол и бархатные спинки стульев были размашисто исцифрены мелом — Павел любил математику. Нечесанный, немывтый, в одном белье, сидел он в постели и на книжных корках писал инструкцию о перевыборах квартальных комбедов... Гостя поддел на вопрос:

— Гречушкин...

— Гречихин, — поправил Ефим.

— ... ты с газетным делом не знаком?

— Нет. Хотя... вы, вероятно, уже слышали обо мне?

— Ну?

— Я художник и поэт.

— Во, во, попоем вместе.

— Я...

— Потом расскажешь. Едем со мной в типографию, кстати и о работе сговоримся.

— О какой работе?

— Будешь театр народный налаживать и мне помогать... по газете. Я ни теньтелелень, и ты ни в зуб ногой, значит дело пойдет. — Гребенщиков закричал на полный голос: — Михе-э-э-йч!..

Михеич у ворот снег кучил, услышал, прибежал, сидящий и румяный:

— Налицо.

— Вызови из исполкома лошадь да позвони Пеньтюшкину, пусть карандашей и бумаги пришлет, а то вон на чем писать приходится, — отбросил он книжные корки.

— Есть налево, — весело отозвался Михеич и убежал трясти телефон.

Помимо уборки двора и комнат, он заведовал партийной библиотекой, обклеивал город газетами, мыкался по поручениям, был хорошим массовым агитатором, вообще старик на все руки, кабы не малограмотность, которая загораживала от него свет и путала ему ноги... А Павел — председатель укома — месил жизнь, как сдобное тесто, и она пицала у него под жадными руками.

Остальные члены укома забегали изредка: голоснуть, подписать протокол, иногда посоветоваться. Сапунков, считая себя одним из старейшин и отцов организации, недолюбливал молодого председателя и часто без толку вламывался в спор, чтобы показать обилие приобретенных знаний: пускался в дремучие дебри изречений, выуживал какую-нибудь историческую аналогию, переплетая ее с поднятым вопросом. В укоме не было ни денег, ни жратвы, ни карандашей, ни обстановки, кроме десятка покалеченных стульев и одного стола. Да еще в углу стояло чучело бурого медведя: «Он мужик хороший, от него как будто и теплее», — говаривал Михеич, а Венеру Милосскую он выволок в дровяник. Сознательная канцеляристка Маруся Векман, помаявшись недолгое время в партийном комитете без пайка, перекочевала в финотдел, и теперь Павлу даже бумажонки приходилось налаживать самому. Единственным и верным помощником остался Михеич. Вдвоем они братски делили всю работу укома.

Павел — в штаны, в шинель, в дверь, в исполкомовские санки.

Сытая лошадь высветленной подковой рубила дорогу. Морозный ветер, как пламенем, обдавал лица. У Гребенщикова и шинель и ворот суконной блузы нараспашку.

— Вчера поднимали вопрос о посылке тебя на продкампанию, провалили. Никто тебя, кроме Гильды, толком не знает, а хлеб из мужиков выколачивать — дело разответственнейшее. Покажи себя в городе, на черновой работе, а портфель не убежит.

— Я и не гонюсь... Я понимаю...

— Знаю я вашего брата, интелеягушку... Работать и умеете, но страсть любите у всех на виду быть, в воловью работу вас, чертей, не запряжешь... Вот и в тебе, наверно, капризов и вывертов всяческих хоть отбавляй? Ты тоже, кажется, из этих... Сынок, что ли, купеческий?

— Напрасно вы так... Я в подполье полгода работал...

Перебегали типографский двор, Гребенщиков продолжал:

— На днях является в уком Лосев. «Честь, говорит, имею представиться. Прислан я из центра на пост продовольственного комиссара, вот мои рекомендации». И грох на стол пачку бумажек, не вру, с полсотни!.. Матюкнул я его сгоряча... «Что ты, говорю, собачья жила, ровно жених свататься пришел и товар лицом кажешь? Районы надо ставить, ссыпки налаживать, амбары сгнили, есть на чем зарекомендовать себя». Ах, пес!.. Нет, нет! Вас, чертей, в котлах салотопенных вываривать надо, кожу вашу тонкую дубить, а потом уж и подумать, стоит ли до работы допускать...

Метранпаж Елизар Лукич Курочкин провел их в машинное отделение. Помещение грелось одной чугунной печкой, около которой целыми днями топтались наборщики, пекли картошку, поносили порядки и кашляли, задыхаясь от дыма. Печатники за посуленный Лосевым дополнительный паек работали одетые. Расхлябанная плоская машина дребезжала, ровно телега по мостовой, и судорожно выбрасывала большие — с простыни — отпечатанные листы. Гребенщиков выхватил один лист и захохотал. Ефим, обиженный решительностью и грубостью их недавнего разговора, заглянул ему через плечо. По сыроватому листу — вершковыми буквами:

**ВОЗЗВАНИЕ**

к трудящемуся населению Ключвинского уезда

Я, солдат первой в мире социалистической революции, призываю всех честных граждан крестьян чуткой душой откликнуться на мой пламенный призыв:

Хлеба!

Москва!

Красные волны революции!

Хлеба!

Фронт и тыл!

Мировая коммуна!

Борьба за лучшие идеалы человечества!

Цветы сердца!

Хлеба!

Хлеба!

Хлеба!

— Видал?

— Нда, со стороны стилия — безвкусица.

Павел, высмеявшись, свернул листок и сунул за пазуху.

Номер газеты набирался вторую неделю. По реалам были разбросаны оригиналы статей и тощие гранки корректуры. Наборщики, сетуя на невзгоды жизни, дружно саботировали. Вождь идейных клкжвинских меньшевиков, метранпаж Елизар Лукич Курочкин, сунув рукав в рукав и поблескивая лысой, похожей на жестяной чайник головой, расхаживал по типографии и маятанным голосом говорил, что нельзя верстать полосу, когда нет набора, не хватает типографского материала, нечем промывать шрифтов. За тридцать лет своей работы он, Курочкин, не помнил, чтобы наиболее сознательная часть пролетариата была в более плачевном материальном положении; обещаемые советской властью блага и свободы остаются на бумаге; растоптаны лучшие заветы вождей демократии; идея большевизации и социализации страны утопична и т. д. Павел не раз схлестывался с ним спорить, но царящий в помещении холод гасил революционный пыл типографов, а голод крутил кишки.

Сегодня Гребенщиков решил действовать. Написал коротенькую, но убедительную записку завздраву эмалированному доктору Гинзбургу, и через час Ефим притащил для промывки шрифтов полведра бензина. Сам Павел съездил в предком, к «солдату первой в мире социалистической революции» Лосеву, потом повидался с Капустиным, по пути прихватил из дому железную печку.

Типографы уже мыли руки и собирались шабашить.

Павел задержал их не надолго и обратился с коротким словом:

— Товарищи! Мне не хотелось бы с вами ссориться... Давайте попробуем говорить по-хорошему... Работать нам так или иначе, а придется вместе и долго, больно долго, значит...

— Молокосос! — ринулся было Елизар Лукич, но его удержали.

При глубоком и несочувственном молчании Павел продолжал:

— Нынче пришлю столяра, ухетует вам двери и окна... Вот еще одна печь. Ставьте ее руками, а не как-нибудь, для себя же, гляди. — Он легонько толкнул колено дымившей печки, и железная труба с грохотом рассыпалась. — Разве это дело? Для себя и то лень поставить как следует...

Кто-то бездумно рассмеялся.

— Пока достал вам немного денег, вот... — Он вывалил на стол свое двухмесячное, вчера полученное жалованье, — разделите понемногу...

— Нам не нужны подачки.

— Это часть вашего заработка, а после как-нибудь раздобудем и еще... Но,

товарищи, завтра газета должна выйти во что бы то ни стало! Текущий момент...

— Слыхали, надоело...

— Что надоело?

— Пустозвонство ваше.

Целую минуту все молчали... Потом страдавший одышкой вертельщик Потапов глухо выговорил:

— Мы, товарищ редактор, не супротивники... Жена, черт с ней... И сам не в счет... А вот ребятишки малые, они ваших декретов не читают, жрать просят... Да ежели бы паек мало-мальски... Нам, товарищ, работа не в диковину, работы мы не боимся...

Кто-то поддакнул, кто-то принялся ругать кооперацию, а заодно и комиссара Лосева, переплетчик Фокин подал мысль собраться вечером — вымыть окна и полы, поставить печку, протопить помещение и с утра приняться за работу. Настроение подавленности было рассеяно. За предложение Фокина голосовали единогласно, воздержался один Курочкин. Расходились шумно.

У ворот Павел догнал метранпажа.

— Ты вот что, Елизар Лукич, если будешь затирать бузу, не посмотрю ни на твой революционный стаж, ни на то, что ты коренной пролетарий, в чека отправлю. Поверь слову, перед всеми говорю.

— Верю. Вас, подлецов, на доброе дело нет, а этого только и жди... Чекушкой меня, брат, не запугаешь; сидел шесть лет при царе, посижу и при власти узурпаторов. История вам этого не простит! — И, подняв вытертый лисий воротник, проваливаясь в сугробы, старик ударился через улицу.

Ефим сообразил, что наступил самый подходящий момент, и, оставшись с Гребенщиковым наедине, после нескольких незначительных вопросов сказал:

— За организацию народного театра взяться я и возьмусь, но надеюсь, что все наши учреждения и в частности вы, как человек, пользующийся колоссальным авторитетом, пойдете навстречу?

— Ты о чем?

— Вообще... Мало ли предстоит хлопот?... Нужно будет приспособить сцену, заготовить костюмы, подобрать труппу... Я еще не знаю, но возможно, придется как-нибудь временно, что ли, просить об освобождении из концентрационного лагеря одной артистки Шерстневой... Она совершенно незаменима на ампуа инженю... Она в сущности и попала-то туда, кажется, по недоразумению.

— Ты, Гречихин, напиши свои соображения и завтра покажешь мне... Всю эту историю с народным театром надо двигать быстрее. Кроме того, завтра с утра приходи корректировать газету.

— Но я...

— Поймешь, не юродивый... Дело не хитрое, этот же Курочкин покажет... Ну, прощай.

В свою комнату Ефим ворвался вихрем:

— Ура! Поздравь! Я — помощник редактора и директор народного театра! — Закружил, зацеловал, подбросил Гильду под потолок. — Работать, работать и работать, черт побери!.. Ну, и собака же твой хваленый Гребенщиков, — отпыхнулся он и рассказал события дня.

— Бросишь лентяйничать? — Глаза Гильды блеснули радостно.

— Довольно, довольно лодырничать!

— Правда? Ты обещаешь?

— Клянусь костями всех моих славных предков.

Гильда спела новому директору песенку Гейне, усадила его за

политэкономии и, попудрив нос, убежала в гарнизонный клуб «Знамя коммунизма», где вела два кружка.

Клуб ютился в мрачном подвале бывшего трактира Ермолаича. Лестница провоняла кислыми тошнотными запахами. В бильярдной помещалась читальня с дюжиной тощих брошюр и дешевый буфет: ржаные пряники, окаменевшие крендели и чай с сахарином в тяжелых глиняных кружках, прикованных к стойке проволокой. Свой оркестр целыми вечерами запузыривал марши, мазурки, «Интернационал». Зрительный зал был густо перекрыт плакатами, бумажными флажками и мудрыми изречениями. Сцену освещала керосиновая лампа, углы зала были завалены глыбами промозглого махорочного сумрака.

Молодые солдаты последнего призыва, с шапками в руках, шумно рассаживались по новым нестроганым скамейкам. Немало Гильда потратила усилий, чтобы взнудать солдатское внимание, отучить лущить семечки и перемигиваться во время урока.

— Какая рота, товарищи?

— Вторая, вторая...

— Помните, о чем мы беседовали позавчера?

— Так точно, помним. Про бога и попов.

— Ну вот, сегодня поговорим о другом.

— Смирно! — кричит от дверей ротный, и солдатские голоса смолкают.

Все было мудро и просто:

— Красная армия — защитница трудящихся... Наши враги — кулаки, помещики и капиталисты... Беспощадно... Долг... Красное священное знамя... Долой. Да здравствует... У кого есть вопросы, товарищи?

Вопросы занозистые и в голос и записками:

— Когда война кончится?

— Нельзя ли перевестись в милицию?

— Кто такая Антанта?

— Должна ли свобода защищаться за деньги или даром?

— Почему мобилизованы наши годы, а не другие?

— Просим прибавить хлеба к обеду.

— Сколько коммунисты получают жалованья?

Подсовывались и такие записки, что — ай да люли — молодую лекторшу и в жар и в холод бросало. Обыкновенно минут тридцать набегало сверх часа, она ловко направляла беседу, закругляла вопросы, сводила их на нет и громко объявляла:

— На сегодня хватит, время истекло... Некоторые ваши вопросы довольно трудны, я подумаю над ними и отвечу в следующий урок, послезавтра. Всем понятно?

— Так точно, понятно.

— Выла-а-азь...

Толкаясь, разминая затекшие ноги, распаренные, вываливались на улицу, дымили махоркой, смеялись. Угрожающе гремела команда ротного:

— Станови-и-и-ись, вашу мать!..

Второй час Гильда работала в кружке повышенного типа, с коммунистами: восемь человек на весь полк. И на них было немало ухлопано сил, чтобы приохотить к занятиям, привить любовь к книге и отучить заглядывать лекторше за кофточку. Вначале помногу приходилось говорить самой. Слушатели, ровно сговорившись, дружным хором молчали. Раз от разу, понемногу раскачивались и царапались, кто как умел, на ледяную гору незыблемых истин. Гильда больше не

вела их, только подталкивала и в меру похваливала.

Час растягивался на два, а то еще и с гаком.

После лекции у выходной двери ее всякий раз поджидал вновь отстроенный юноша, красный офицер Коля Щербаков и всякий раз, пристукнув каблуком, говорил одно и то же:

— Сочту за счастье проводить вас... — Подхватывал лекторшу под руку и стремительно увлекал ее в расписанную звездами ночь. Кругом каждая снежинка кипела слезой восторга, а глупый и румяный Коля засыпал ее вопросами: «Любите ли вы Гамсуна и Арцыбашева?.. Может ли идейный коммунист жениться?.. В Индии или в Америке вспыхнет раньше революция?.. Почему девушка закрывает глаза, когда ее целуют?..»

Наговорившись за вечер, Гильда ничего не отвечала и только смеялась. Смех ее был бодр, как хруст кочня на молодых зубах.

Спутник торопился подарить новость:

— В воскресенье у нас в казарме состоялся грандиозный митинг. Выступаю с часовой речью... Говорю о красных фронтах, о баррикадных боях в Берлине и Гамбурге, о близком торжестве коммунизма во всем мире, и, понимаете, две роты молодых солдат как один поднимают руки: «Желаем подписаться в большевики...» Нелепо, но замечательно!.. И командир полка вчера мне сказал: «Нелепо, но замечательно!»

Завидя свой дом, Гильда уже не слушает его; наскоро прощается и бежит, рвет дверь, бурей летит по темной лестнице... «Ефим... Он так любит целовать холодные, поджаренные морозом щеки». Звенит сердце, озябшие пальцы нашаривают скобу...

В углу, под пальмой, голый Ефим, припав на корточки, с рычанием грызет утащенную из кухни сырую телячью голову. Тело и лицо его дико расписаны углем и цветными карандашами. В ушах, на подвесках бренчат дверные ключи, из ноздрей торчат роговые шпильки, губу оттягивает медное кольцо.

Некоторое время Гильда стоит в оцепенении:

— Что ты делаешь, безумный?

— Я?.. Художественно иллюстрирую первобытного человека.

— Х-ха, где же твое обещание работать?

— Скучно, дружок.

— Болван.

— Я начинаю терять вкус и к твоим поцелуям.

— Что?

— Ррррр, уууууу... — Защелкал зубами, завыл и, размахивая телячьей головой, убежал на кухню.

Книга политической экономии была раскрыта на первой странице.

Во всю стену цветными карандашами — лозунги:

Моя дорога — все дороги!

Мой путь — все пути!

Мое жилище — весь мир!

Были расписаны стены стихами, зверями, лесами и сценками из охотничьего быта. Слеза застилала глаз и мешала разобрать рисунок.

Всю ночь Гильда молча просидела за столом... Слушала бой часов и скрип уличного фонаря, что раскачивался прямо против окна. Страхивала ночь на фонарь снежные перья, по синему полю далекие сверкали и переливались звезды...

На первое торжественное заседание вновь избранного исполкома были

приглашены представители фабрично-заводских комитетов, кооператоры, работники профессиональных союзов и председатели квартальных комитетов бедноты.

Из словесной мякоти многочасовых докладов выпирали ребра задач, а задачи были огромны и просты: выкачать восемь миллионов пудов хлеба и перебросить его в центр; организовать городские низы; из глубин уезда вывезти к линии железной дороги полтораста тысяч кубов дров; потушить разгоравшийся тиф; углубить классовое расслоение деревни; провести всяческие мобилизации.

Во всех речах было одно:

— Товарищи, поддержишь!

В перерыве заседания дежурный подал Капустину телеграмму, присланную из губернского города: Уральская и Оренбургская области снова беспокойны. Срочно требуются пополнения восточный фронт. Предлагается десятидневный срок всеми имеющимися в наличии силами провести по уезду мобилизации трех очередных годов. Дальнейшие директивы завтра высылаем с курьером. О принятых мерах ежедневно доносите телеграфом.

Капустин повертел в руках бумажку, свистнул... На глаза попался розовый затылок продкомиссара.

— Лосев!

Подбежал:

— Я вас слушаю, Иван Павлович.

— Чего я тебя хотел спросить?.. Как его этого... — Капустин крепко потер лоб. — Да, сколько у тебя сейчас народу?.. Ну, партийцев и этой... саранчи?

— Ответственных работников?

— Ага.

Продкомиссар выхватил из френча новенький, совершенно чистый блокнот — еще не успел записать в него ни единой буквы — и, мельком полистав, выпалил:

— Под рукою четверо, завтра ожидаю двоих, в уезде у меня агентов, инструкторов и райпродкомиссаров... мм... двадцать восемь, итого... сейчас, — чирк, чирк, — итого тридцать четыре, не считая двух продотрядов и шести летучих заготовительных отрядов... — Уши его зарумянились от удовольствия.

— Вот что, Лосев, твой доклад перенесем на завтрашнее заседание... Сейчас беги к себе, поднимай на ноги курьеров, телефонистку, зажигай в своем дворце огни, наяривай, звони... Понимаешь, боевой приказ, мобилизация!

— Я тут при чем?

— Завтра, к трем часам дня, пришлешь в уком за инструкциями пятерых своих лучших коммунистов и человека три беспартийных, но таких, чтобы... сам понимаешь.

— Позвольте, дорогой Иван Павлович, — Лосев нырнул в портфель и зарылся в бумаги, — согласно циркулярного распоряжения наркомпрода от седьмого сего января...

— За неявку их ответишь ты.

— Посмотрим.

— Ну, живой ногой!

— Я сейчас же дам телеграмму в Москву и в губпродком... Вы срываете мою работу...

Капустин наклонился и сверкнул ему в ухо яростным ругательством. Лосев сгреб бумаги, шапку и убежал, бормоча: «Не понимаю, черт знает что такое, генеральские замашки».

В углу, на широком диване курили и о чем-то крупно разговаривали

Гребенщиков, Мартынов и военный комиссар Чуркин — в недалеком прошлом дамский портной. Капустин подошел к ним и показал телеграмму:

— Вот, ребята, наша очередная задача, давайте обсудим.

Поговорили, и, не дожидаясь конца заседания, Чуркин уехал к начальнику гарнизона Глубоковскому составлять текст приказа, так как сам с этим делом был мало знаком, а Гребенщиков убежал разыскивать метранпажа Елизара Лукича: приказ решено было отпечатать этой же ночью.

Утром, зля собак своим унылым видом, двое растяпистых солдат нестроевой роты раззаборивали приказ о мобилизации. За солдатами гужом впритруску бежали козы и, пачкая морды в типографской краске, слизывали приказ с еще не остывшим клейстером. На углах собирались жители, новой тревогой, как льдом, затягивало город.

В нетопленном укомовском зале Чуркин напутствовал коммунистов, отправляющихся на места для проведения мобилизации. Шинели, полушубки, драповые пальтишки. Глаза ждущие, покорные, как сучки в бревенчатых стенах укома. Крюшники, железнодорожники, ткачи, чуть ли не поголовно и сами мужики, только вчера переобувшие лапти на сапоги, — знали: степной народ своеволен, туго придется... И оттого ли, что ехать все-таки надо, или от унылого голоса Чуркина, читающего ровно над покойником, — голос у него жидкий, как светлая вода, — всем муторно стало... Загородивший собой весь пролет окна богатырь Алексей Галкин густо зевнул.

— Кончай, что ли, военком, али тут тебя до ночи слушать будем?

— Правильно, кончай... Пора... Ясно все.

В текущих делах пожаловались:

— Одежи теплой нет, в чем ехать?

— Нынче в городе тридцать градусов, а там, в степи, он, батюшка, как завернет, завернет...

— Семьи-то как же останутся?.. Ты, товарищ Гребенщиков, приглядывай тут, чтобы, значит, и паек нашим бабам и все такое...

А двое продработников совали ему заявления.

— Мы не на эту работу сюда командированы... Вы поймите, товарищ председатель...

— У меня удостоверение от врача, будьте добры, войдите в положение...

Нельзя ли как-нибудь...

Серый после бессонной ночи, Павел постучал по столу согнутым костлявым пальцем и негромко сказал:

— Товарищи, вот вам мандаты, литература и бомбы... На места!

...Степи, степи и черные леса. Петли и переплеты унавоженных дорог. По задумчивым расейским просторам нога за ногу и след в след брели голодные дни. Вьюга пела в степи древнюю песнь, зализывала вьюга прогонистый волчий след.

Снега, снега...

В снегах дымились теплые гнезда деревень.

Избы, свернувшись в сугробах, дышали хлебным и овчинным дыхом. Глухо вопрошали избы:

— Пошто приехали?

— Товарищи крестьяне, советская власть с надеждой глядит на вас и призывает вас...

Солома, лыко, плетневая хлябь...

— Вот што... та-ак...

— Товарищи...

Мужичий крик утробен, едуча мужичья слеза, земля под нею горит.

— Выходит, красны с белыми дерутся, а серого по шее бьют?

Разговор у деревенского старика гуще чернозема весеннего; скажет этак-то да погода еще:

— Мужичья плешь вроде наковальни, всяку чертоплясину через нее гнут...

Что тут будешь делать?.. Ладно, видно. Затирай, старуха, подорожники, а ты, сынок, отгуливай останны деньки. Послужи, отведи свой черед... Не мы первые, не мы и последни... — Подумает, подумает да еще: — Товарищи, скоро ли замиренье выйдет? Какой год маемся, шутка ли?

— Весной, старик, ожидаем.

— Дай ты, господи, самый к севу.

Молодая деревня догуливала останны деньки, переплывала пьяные моря, гармонь разводила на весь мах...

Угоняют нас в четверег.

Прощай, лес, прощай, дуброва,

На крутой советский берег,

Прощай, девка черноброва...

По деревне из конца в конец, подобен вьюге, мел и кружил визг, свист, надрасный рев.

— Гуляй, парень, рвись надвое!

— Качай воду, ломай лес!

— В креста, бога, мать!

— Га-га-га...

— Поддай пару, голыши, буржуи, не дыши!..

Плясали, плакали, сморкались...

На мельнице на ветрянке,

Прощай, лес, прощай, дуброва,

Окна бьем, летят стеклянки,

Прощай, девка черноброва...

Старая деревня за околицу провожала надёжу свою, выла истошно, надрасно, на тысячу голосов:

— Батюшки... Ванюшка... Светик ты мой... О-о... О-ох...

В пушистых снегах вились дороги. По сотням дорог мерзло визжали полозья, закуржавелые лошадиные головы мотались в дугах.

К городу в город, обтянутый серыми дощатыми заборами.

На приемочном, как всегда, трепет и страсть, разухабистая удаль и жалостливая растерянность, сопливые поцелуи, пьянка и песня: русский человек пьет-поет и с горя и с радости...

— Годен, следующий!

— Годен, давай подходи!

— Годен...

Крутую гору горя размывали пьяные слезы, песня и гармонь...

Мобилизация, казалось, удалась. Правда, в двух самых крепких волостях и вышла заминка, зато татары, чувашы и мордва прислали призывников раза в два

больше: раз зовут, значит иди и ты, Мишка, и ты, Гришка, и вы, Сабир с Шарипом. Когда родились, черт вас упомнит, совет-бачка кашей масляной кормить будет, штаны даром даст... В казарме с первого дня их прозвали идолами.

Была в городе —

БАНЯ ПАРИЖ,

ОБЩИЕ И СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА

Стала —

КРАСНАЯ КАЗАРМА

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА

Окна заколочены фанерой. Оба этажа внабой. По скамейкам, по асфальтовому полу, в коридорах, по бельевым ящикам — всюду лапти, чапаны, пестрядина. Пятилинейные дохлые лампы, тусклый холод, зудящая тоска. Кипяток раз в сутки — по утрам, с полночи в очереди — на всех не хватало кипятку. Обед ждали в сонной одуре, да и обед-то праховый, известно — солдатски щи, хоть ты их ешь, хоть в них портянки положи. Не стареют старые пословицы. Суточное довольствие: хлеба фунт, сахару шесть золотников, соли по вкусу, приварок никудышный. В первые дни еще терпимо было. Мазались домашние харчи. Потом подвернуло, аяй, начала кишка кишке — казать. Не столько голод, сколько холод донимал. Казарму совсем не топили, дров не было. Хотя и нашлись бы дрова, привезти некому, да и не на чем. Пожалуй, и лошадей разыскать можно было бы, да разве натопишь эдакий сарай, тут каждый день две сажени надо. И окна были все перебиты, ветер сквозь так и хлестал, вольный свет не натопишь. На ремонт средств не хватало, тут делов было на год. Да и то сказать, для кого ее ремонтировать, храмину этакую? Мобилизованным все равно скоро на фронт отправка. Оба этажа были заняты разноязычным говором, вшивыми лохмотьями. Сожгли двери, скамейки, шайки. Зарились на дровяной сарай, да не достать: строгости, порядок, из бани призванных никуда не выпускали. От скуки табуном подваливались к двери, тоскующе и нище, по привычке отцов, просили караульного:

— Пусти, товарищи.

— Не приказано.

— Уважь.

— Не могу.

— Брось вола валять.

— Сказал, не пуцу, и все тут.

— Вон сарай, оторвем по доске и этим же следом вернемся.

— Разойдись от двери.

Сулили лепешек, табаку — и не глядит, не подкуришь. Понуро расходились.

— Чудно, ровно арестантов караулят.

Потом доныхрились: караульный из особой роты.

— Што это за особенна рота?

— Кто их знает... Коммунисты, слышь, да китайцы.

— Ну-у?

— Вот те и гнут, а ты корчишься.

— Приметили, какой на нем сапог? Подошва толще твоей губы, голянице клеймено пятиухой звездой...

Томились, гадали, как да что?.. Целыми днями до обалдения играли затертыми картами, рано ложились спать и подолгу, не спеша, вспоминали деревню, в разговорах распуская душу. Мобилизованные солдаты старой службы и бывшие офицеры держались отдельными кучками.

Как-то в праздник забежал в казарму военком Чуркин, кукарекал:  
— Революция... Контрреволюция... Мир без аннексий и контрибуций...

В коридоре кто-то свистнул и заорал:

— Хлеба мало-о-о!

Военком смешался:

— А?.. Что? Хлеба? Вам хлеба мало?.. Вы еще семеро за одной крысой не гонялись...

Слушали, вытараща глаза. «Идолы» из десяти слов понимали одно, да и то не всякое. С опаской подсовывали вопросы:

— Почему не топят?

— Когда обмундировку дадут?

— На фронт погонят, али куда в охрану?

— Будет ли обучение?

— За что держите нас взаперти, ровно зверей?

— В баньку бы...

— С кем воевать? За что воевать?

— Нельзя ли послать к Колчаку делегацию и заключить с ним какой-нибудь мир?

— Почему приказ о мобилизации не был согласован с сельскими обществами?

Чуркин крутил чуб, с пятого на десятое разъяснил, что было по силам его уму, в заключение, сбитый вопросами с толку, выругался и, бренча кавалерийской шашкой, убежал: до вечера ему нужно было провести еще три таких митинга.

После всего, расправив пушистые усы, выступил фельдфебель Науменко:

— Чули, хлопцы, що вин, сукин сын, нам набрехал?

— Чуем, чуем, добра не жди...

— Войну, братцы, выдумывают большевики, чтобы перевести простой народ, а самим блаженствовать.

— Бежать надо...

Дальше было так.

Недолгое время обучали молодых солдат ружейным приемам и рассыпному строю, потом выдали полный комплект обмундировки. Слух прошел, не нынче-завтра отправка.

— Под козыря.

— Не зевай, ребята, на фронт угонят, оттуда не вырваться.

— Не миновать в разбег пуститься.

— Само собой.

Пожгли подоконники, выдрали рамы и фанеру. Печки порушили, по кирпичу раздергали. К чему и печки, ежели тут жить не думано? Обмундировку кто в мешки потискал, кто на себя напялил. Сгребли караульного, забили ему рот обмоченной онучкой, проволокой зацепили за нежное место и подвесили в предбаннике на перекладину — не могли выломать и сжечь ту перекладину, здорова была.

И в ночь буйными ватагами потекли до родных мест.

В бане осталось с сотню, или поболее того, идолов. В городе они были первый раз, бежать убоялись, не знали дорог. Их допрашивали, щупали, нюхали, расстреляли двоих, — членам наскоро организованной комиссии по борьбе с дезертирством они показали способными на любую крамолу, — остальные были отправлены в распоряжение губвоенкомата.

Вскоре разбежался караульный батальон. За ним сорвались две отдельные роты, обучаемые Гильдой. Недели через две от гарнизона осталось:

комендантская команда, боевая дружина коммунистов и Чуркин со своим комиссариатом.

Из города на все стороны поскакали отряды по борьбе с дезертирством, тревожно загудели телеграфные провода, полились слезливые воззвания, подкрепляемые громовыми приказами:

Волкомам, комбедам, сельсоветам срочно. Дезертир, вернись!.. Дезертир — изменник революции! Смертельный удар!.. Позор!.. Белые банды!.. Кровожадная свора помещиков и генералов!.. Позор!.. Все виновные, суровое наказание, вплоть до конфискации движимого и недвижимого имущества.

Следом была проведена партийная и профессиональная мобилизация. Негустыми кучками в военный комиссариат шли записываться ткачи, которых можно было узнать по ситцевым пропыленным лицам и сутуловатости; подбадривая себя громким разговором и смехом, прямо с работы, прокопченные и перемазанные олеонафтом и маслом, шли рабочие депо; слободка дала революционную молодежь и сорвиголов, разных Яшек-кудряшей, Гришек-атаманчиков, которым некуда было девать свою силу и громкая слава о поножовщине которых передавалась из рода в род, из курмыша в курмыш. Призываться с чапанами и вообще быть вместе с ними сорвиголовы считали позором, но со слободскими коммунистами, среди которых было немало отчаюг, они готовы были идти хоть куда и драться с казаками, с офицерами не хуже, чем дрались в слободке на вечорках из-за девок или так, ради смеха.

У приемочных столов шумели очереди.

— Яшка, здорово.

— А-а... Ты тоже воевать, а говорили, тебя баба ухватом запорола...

— Оторвись ты, Юрлова шайка.

— Ну-ну, жарнём, за нами дело не станет.

— Удалой долго не думает, сел, да и заплакал.

— Хо-хо-хо...

— Подходи, товарищи, налетай, не задерживай!

— Фамилье?

— Пиши, Гаврил Овчинкин.

— Член партии?

— Обязательно.

— Какой ячейки?

— Первая мукомольная.

— Распишись.

— Неграмотен... И пальцев недохваток, на германской растерял, вона.

— Куда же ты без пальцев пойдешь?

— Я не на пальцах хожу, а на ногах... В крайности, пиши в обоз, кашу варить, и то человек нужен.

— Правильно, Гаврюшка, — зашумел заметно подвыпивший низенький и толстый, похожий на мешок муки, крюшник Ведерников, — все до одного пойдём, все помирать будем!.. Душа вон!.. Не поддадимся!.. Никогда сроду не поддадимся!..

Провожали отряд в солнечный воскресный день с музыкой, песнями, речами и клятвами, а проводив, сразу забыли о нем. Жены с детьми подолгу и часто без толку толкались в приемных, глотая невеселые сиротские слезы... Город снова и снова впрягся в работу, как немудрящая, но старательная лошаденка в тяжелый воз.

Неловкая история вышла с военнопленными.

Прибыли они двумя эшелонами и остановились, не разгружаясь. Прислали в исполком делегатов: люди голодают, болеют, мерзнут, нужны подводы, одежда, врач. Военнопленные — уроженцы Клюквинского и соседних недалеких уездов — народ битый, тертый, все Европы сквозь прошли. На чужой стороне научились орудовать с машинами, вкусили всяческих наук, и теперь для своей страны они являлись настоящим кладом. Прежде чем пустить в деревню, было решено обработать их.

Павел нагррузил санки литературой и — на вокзал.

Помещение крохотное, митинговать пришлось на запасных путях, на юру. В плеске шинельных лохмотьев, в толпе замученных и смертельно усталых людей Павел говорил недолго — ветер леденил зубы, захватывал дыхание. Спрыгнув с тюка литературы, он сорвал рогожку и подал пачку листовок опаленному морозом солдату:

— Ну-ка, землячок, раздай.

— Не нукай, товарищ, еще не запряг, — смущенно улыбнулся солдат и, не взяв листовок, отвел руки за спину.

Другой из-за его плеча визгливо закричал:

— Зачем нам ваши прокламации?.. Хлеба неделю не видим, это да-а-а...

Застонали, закачались промерзшие голоса:

— Голы, босы...

— Страдали...

— Эх, товарищи... Пять годиков, как пять деньков, понимать надо, чувствовать...

— С самой границы митингами кормите... На станциях кипятку — и того нету...

— Скотинка бессловесная.

— Родина, кровь...

— Гляди, товарищ, разуй глаза!

Из лохмотьев виднелись голые куски тела, обрубки рук. Страшно глянули черные в сухой парше лица и вялые обмороженные уши. Павел, пока говорил, как-то не замечал всего этого. Литературу растащили на раскурку, на подтопку костров, на подвертывание на ноги, чему научились у немцев.

— Вижу, сидите в беде, — продолжал Павел, замешавшись в толпу, — но криком горю не поможешь... Выберите из своей среды комиссию в три человека и сейчас же присылайте в исполком, авось вместе чего-нибудь и придумаем. А доктора вам пришлем немедленно и хлеба наскребем...

За вокзалом Павел перегнал обоз ломовиков: широкие сани были внакат полны трупами тифозных и мороженных солдат.

Держать в голодном городе тысячу лишних ртов не сулило ничего путного, необходимо было во что бы то ни стало протолкнуть их дальше. Комитет, под председательством Елены Константиновны Судаковой, развернул воззвание «Ко всем честным гражданам». По городу был произведен сбор теплых вещей. Исполком, отдел собеза и фабрики подкинули, что смогли. И наконец этот спектакль, открытый длинной речью Елены Константиновны. Она говорила, во-первых, как председательница комитета, во-вторых, как заведующая отделом народного образования и потом вообще любила поговорить на народе. Судакова — члениха исполкома, старая учительница. Вытертая плюшевая шляпка кукишем, вишенки на шляпке. Она отбыла два года ссылки, сидела в тюрьме, о чем не раз напоминала выскочкам и новичкам. Об ее страданиях подробно знала вся клюквинская интеллигенция. Душевную, отзывчивую Елену Константиновну вечно

осаждали просители: «Голубушка, ради бога...» Она делала все, что было в ее силах и власти: утешала обиженных, утирала слезы плачущим.

Забежавший в театр на минутку Павел разговаривал с Гильдой в опустевшем после второго звонка буфете. К ним подскочил Ефим, он был одет в блузу рабочего и пенился возбуждением:

— Друг мой, не удирать ли ты собрался?

— Да, ухожу.

— Нет, нет и нет!.. Сегодня ставится моя трагедия!.. Премьера!.. Не пуцу! Я и место тебе заготовил... Шпулькин, проводи! Первый ряд, кресло девятое, живо!

Проверещал третий звонок.

Вынырнувший откуда-то, похожий на холерного вибриона, Шпулькин уцепил Павла за рукав, Гильда, смеясь, — за другой, и они дружно потащили его в зал.

На спинку кресла была наклеена чрезмерно яркая надпись редактор. Тугая шея Павла налилась жаром, выругал Ефима, и в то же время довольное сердце стукнуло раз... и два...

С поклоном расступился занавес.

В глубине сцены — фасад тюрьмы. За решетками окон — измученные лица, кандалный звон. На отшибе, на глыбах гранита, в красно-огненном колпаке и в широком малиновом покрывале — Свобода непринужденно опирается на саженный меч.

Заключенные стонут:

— Святая свобода...

— Ты недостижима, как греза чистой юности...

— Ты несбыточная сказка...

— В душных теснинах фабрик, в темных рудниках и шахтах миллионы рабов страстно мечтают о тебе...

— О-оо... О-оо-оо!..

Под тюремной стеной проходят оборванцы и какие-то люди, по одежде напоминающие подрядчиков или трактирных молодцов, шепчутся:

— Тюрьма...

— Там забастовщики...

— Туда им и дорога... Больно умны стали, сукины дети, мало ихнего брата повешали, постреляли...

— А все-таки жалко, братцы...

— С такими-то речами и сам ты, хлюст, угодишь под цинковую крышу.

Среди оборванцев появляется молодой рабочий, размахивает огромным молотком.

— Товарищи, долг совести и честь гражданская призывают нас разбить эти мрачные своды и освободить борцов за святые идеи... Великая наша страна изнемогает...

На сцене полумрак. Скользя, плывут тени в саванах: у одних на шеях болтаются обрывки веревок, другие несут в руках свои головы. Тени стонут:

— Мы тоже погибли за идеи...

— Меня повесили царские палачи...

— Меня обезглавили...

— Отомстите за нас...

— О-о... О-оо!..

Рабочий призывает пойти по стопам мучеников, среди оборванцев трусливый ропот...

Свобода вздымает меч.

— Жалкие обыватели и мещане... Трусливые гады, вы недостойны меня...  
Лишь одно море свободно, ха-ха-ха...

Тряхнув плащом, Свобода куда-то проваливается, подымая тучи пыли, от которой чихают и борцы за идею и оборванцы. Прочихавшись, рабочий доказывает необходимость восстания. Восстание. Барабаны, знамена, треск рухнувших тюремных стен. На авансцену выходят плачущие от радости мученики, среди них и Свобода в арестантском халате и цепях; рабочий моментально влюбляется в нее. Множество голосов скрещивается в «Марсельезе».

Зрительный зал подхватывает.

Неистовствует оркестр.

Затем хлынул ни с чем не сравнимый одобрителный свист, восторженный топот ног, и в густой гул, как нож в сало, вонзился визгливый голосок Шпулькина:

— Спокойствие, граждане, антракт пять минут!

К Павлу подсел Капустин, с треском высморкался и тесным говорком задышал на ухо:

— Здорово?.. А?.. Вот тебе и купеческий сын, чего у него башка-то вырабатывает?.. А?.. Мученики, обыватели... И до чего все правильно... Ведь я сам два года по пересыльным тюрьмам скитался, я все это произошел... — Пованивало от него спиртом.

Павла это настолько удивило, что он даже привскочил: Капустин хмельного в рот не брал, и рассказывали, как под Новый год на семейной вечеринке Сапункова, куда его заманили, не только отказался выпить предложенную ему стопку, но разбил посудину с вишневой наливкой и, заматерившись, ушел, чем испортил праздничное настроение собравшихся ответработников.

— Ваня, ты маленько выпивши, пойдем домой.

— Я-то?

— Ты.

— Ни в одном глазу.

— Пойдем, а то я с тобой разругаюсь.

— И не проси. Свобода, мученики... Должен я доглядеть, чего у них получится, — вцепился в витую ручку кресла, и никакими силами его нельзя было оторвать, не поднимая шума.

Павел крепко сжал ему руку:

— Ты что дурака валяешь?.. В такое место пришел пьяный да еще скандалничать хочешь?

— Пашка, не проси и не моли. Тебе сказано...

Павел усадил его около себя и сунул ему газету, уговорив прочитать какую-то статью.

Проверещали звонки.

Занавес разбежался...

В зале — поток блестящих глаз, раскрытые рты и лица жалостливые, нахмуренные, удивленные.

...Баррикады, телефоны, солдаты с красными лентами на шапках. В стороне тот же рабочий с женой Анной. Старик со старухой прежалобно упрашивают их вернуться домой. Они не соглашаются. Старуха хватает за руку дочь, та вырывается и толкает родную матушку так, что она едва не скатывается в зрительный зал. Рабочий с женой декламируют:

— Уйдите прочь, вы, жалкие и ничтожные кроты!.. Ползайте и пресмыкайтесь во прахе!.. А мы локоть в локоть, плечо к плечу пойдем туда, навстречу новой жизни, и с гребня баррикад первые увидим вновь восходящую над миром

прекрасную зарю освобожденного человечества!..

Старики с плачем уходят. В зале смех.

С баррикад открывается продолжительная и ожесточенная пальба. В зале пахнет порохом, гарью, бьется в истерике поджарая девица, ржут солдаты и громом хлопков заглушают стрельбу. Успех полный, но это еще не все. Приводят двух пленных золотопогонников. Далеко не любезен их разговор с рабочим. Перед расстрелом они успевают крикнуть:

— Вся земля помещикам, власть капиталистам!

— Боже, царя храни!..

(Ефим подумывал, что неплохо бы было для усиления впечатления приводить на каждый спектакль из чека по парочке приговоренных и на сцене кокать их.)

На носилках подтаскивают раненых, каждый из них перед смертью произносит речь. Пищит полевой телефон, прибегает запыхавшийся вестовой:

— Белые разбиты наголову!.. Ура!..

Этим трагедия и кончилась. Под непомерной тяжестью восторга стонал пол, с театра готова была сорваться крыша.

С плохо смытым гримом в зал прибежал сияющий всеми своими гранями Ефим, схватил Павла за руки:

— Ну, что?.. Как?.. Ничего?.. А?.. Ведь правда ничего?.. Понравилось?..

— Молотком-то ты махал столярным... Он хотя и большой, а столярный, таким не куют.

— Ерунда, молоток можно исправить... А свою трагедию я в Москву пошлю.

— Посылай, брат, советую.

— А-а-а, здрасте, товарищ Капустин, извините, я вас и не разглядел...

Волнуюсь, как ребенок... Так советуете послать? Понравилось? Как, ничего?

— Крепко, — убежденно сказал Капустин. — Злее, чем у Гоголя... Там все про хохлов, мура какая-то...

Утопая в словах, как в песке, Павел спросил:

— Кто это?.. Ну, твоя жена?

— Гильда?..

— Нет.

— Ах, Анна... Ты про нее спрашиваешь?.. Сегодня она в ударе! Не правда ли?.. Так это же Лидочка Шерстнева, из концентрацишки, помнишь, бумажку подписывал?.. А что, понравилась?.. Недурна девочка. Не правда ли?.. Сделай милость, пойдем познакомлю... Да вот она и сама, легка на помине...

Подлетела с кружкой:

— Пожертвуйте, товарищ.

Пышная, душистая, брови вразмет.

— Познакомьтесь... Лидочка Шерстнева, по сцене Дарьялова-Заволжская...

Редактор Гребенщиков, — ему вы, Лида Михайловна, обязаны своим освобождением... А это товарищ Капустин, Иван Павлович... ха-ха-ха, наш красный губернатор.

Улыбнулась Капустину, чуть подкрашенную улыбку задержала на лице Павла.

— Вы председатель коммунистов?.. Я о вас так много слышала, так рада...

Пожертвуйте на бедных солдатиков, которые...

— Знаю, — буркнул он, не глядя и видя ее. Жесткой рукой встряхнул ее теплую кошачью лапу, и мороз порснул по его лошадиной, сразу вспотевшей спине...

По рассеянности сунул ей в кружку ярлык от вешалки. Играя зеркальными глазами, она поболтала еще минутку и убежала в толпу.

— Ну, пошли, — решительно сказал Павел, зачаливая Капустина под локоть, — нагляделись.

— Уходите? — вскинулся Ефим. — А восточные танцы в исполнении Лидочки? Чрезвычайно любопытно...

— Некогда... Дела... Ваня, пошли.

На улицах — горбатые сугробы, сверкающая тишина. Обдутый ветром и быстро посвежевший, Капустин начал выматывать из себя обиды:

— Декреты мы писать пишем, а мужика не знаем и знать не хотим... Где надо брать срыву, а где и исподволь... Окажи мужику уважение, капни ему на голову масла каплю, он тебе гору своротит.

— Время горячее, Иван Павлович, а мужик жаден: капать тут некогда, плескать только успевай... Вот и приходится ему на глотку наступать: «Твое — мое, дай сюда».

— Время горячее... Мужики это понимают, а которые прикидываются дурачками, так мы им приказываем понять... «Дай хлеба» — дали. Ворчат, а дают. Через месяц разверстку до последнего зерна собрали бы, а нынче прибегает ко мне Лосев, бумажонки кажет. «Вот, говорит, в центре вышла ошибочка в расчетах и приказано нам собрать дополнительной разверстки два миллиона пудиков».

— Здорово.

— А?.. Что делают с мужиком?.. Они там, в центрах, политику разводят, а мы отдувайся. Мужик любит крепкое слово. Раз возьми — даст, а другой раз он тебе вот чего покажет... У него загодя рассчитано, сколько в разверстку сунуть, сколько на семена, сколько на пропей, на прокорм... А тут нате, пожалуйста, здорово живешь, вышла у нас ошибка в расчетах...

Передохнув, Капустин отфыркнулся, как уставшая лошадь.

— Или чагринский райпродкомиссар, в гроб его мать, навалил под открытым небом девяносто тысяч пудов сена, перемешанного со снегом. Ну, не дурак ли?.. Выпади теплый денек, и все оно завтра же сгорит, задохнется... В Мокшановке еще того чище: насобирали битой птицы, целый амбар, она у них и раскисла, всю волость протушили, срам... Вот, Пашка, какими картинками засоряется русло, по которому должно проходить быстрое течение советской власти... «Дай людей» — и людей дали, а мы чего с ними сделали? Ты приказ-то о мобилизации читал?

— Какой приказ?.. А что? — спросил Павел, настораживаясь.

— Почитай...

Они остановились под фонарем.

Капустин извлек из портфеля оттиск приказа, и Павел внимательно прочитал отчеркнутые красным карандашом места:

§ 2. Учителя и члены комитетов бедноты, твердо стоящие на платформе советской власти и не замеченные в саботаже, призыву не подлежат.

§ 6. Добровольцы и красногвардейцы годов, не подлежащих призыву, от службы увольняются. А тех, кто пожелают остаться в рядах армии, выделять в маршевые роты и немедленно отправлять на фронт.

§ 9. Призыву подлежат все проходившие в старой армии учебные команды, офицеры всех чинов, а также лица вышеупомянутых годов, которые почему-либо не несли военной службы до революции.

— Это же чистейшая контрреволюция! — воскликнул Павел.

— И я то же говорю. Кто уклонялся от военной службы до революции? Торгаши, купцы и всякие калеки... На какой кляп они нужны нам... А красногвардейцы, фронтовики, учителя, комбедчики — наиболее сознательные элементы — от армии отшиты. Ловко?.. Кто же по этому приказу в город явился? С

одной стороны, темная и необстрелянная крестьянская молодежь, с другой — ефрейторы, фельдфебеля, офицеры, кулацкие сынки... — И мы им сами, своими руками выдали оружие?

— Роздали около трех тысяч винтовок, они уволокли их с собой и теперь из нашего оружия будут стрелять в нас.

— Чьих это рук дело? Враг или дурак?

— И тот и другой... Приказ мы поручили сочинить Чуркину, а он, балда, поехал за военными советами к Глубоковскому, тот ему и насоветовал...

Подавленный Павел молчал... Думы дробились, как быстрая вода на камнях... Морозные просторы, снежные зыби, синяя кайма лесов по белому полю, обозы с хлебом и дровами, ссыпки в хлебной пыли, мужичьи крутые шутки, бредущие по волчьему следу дезертиры, всесильные продкомиссары, выколачивающие разверстку и морозящие картошку тысячами пудов, редкие островки партийных ячеек...

— До сего часа, — заговорил Павел, — за недосугом, а вернее, по ротозейству, я не удосужился прочитать текст приказа... А печатал его Курочкин, есть у нас в типографии меньшевичек такой, не предупредил, собака... Впрочем, нечего на других сваливать, мобилизацию провалили мы сами... Во всем виноваты сами... Где были наши головы?

— Пускай теперь Чуркин поедет, соберет дезертиров, пускай понюхает, чем там пахнет...

— Не о том разговор, Иван Павлович. Кто этот начальник гарнизона?.. Глубоковский, Глубоковский, только о нем и слышу.

— Офицер какой-то... Наказывал я Мартынову — проверь. Он проверил и говорит: «Ничего страшного, служит в Красной армии второй год».

— Мартынов — шляпа, И вообще у нас чека работает слабо... Ты вот говоришь, людей нехваток, люди на счету... Чепуха, людей у нас хватит, ты это разумей.

— Где они? Укажи!

— У нас один пашет, а семеро руками машут да пайки в два горла жрут... Сколачиваем мы машину управления, обруч диктатуры, а кого в пристяжку подпрягаем? Чиновников, гимназисток, офицеровых жен. Нынче безработных в городе пятьсот, завтра их будет тысяча. Наши безработные всю жизнь железки гнули да под мешки мыряли. Али из них не нашлись бы курьеры, писаря, сотрудники? Дело несручное? Выучатся, и мы с тобой не комиссарами родились.

— Учиться, Пашка, некогда, надо разверстку гнать, — Капустин стал выкладывать свои давнишние мысли о доме, который еще не построен, вокруг которого еще ставятся разметочные столбы и леса городятся.

Но Павел не слушал его и не переставая говорил сам:

— Или взять эсеров. Выставили мы их из города, они рассосались по уезду, окопались в кооперативах и потребительских обществах, в земельных отделах и нарсудах, в Лебедевской волости организовали сельскохозяйственную коммуну, в Марьяновской волости захватили в свои руки совет и комбед... Мартынову эсеры кажутся смиренными овечками, но они еще покажут нам свои волчьи зубы...

— Не крутоли гнешь, чудило-мученик?.. Эсеры, они разные... Был у нас на фронте левых эсеров отряд, неплохо воевали ребята. Выступали, помню, из Тетюш...

— Ты лучше вспомни, — перебил его Павел, — сколько эсеров работали и до сего часа работают заодно с чехами и Колчаками?.. Вспомни московское восстание, Ярославль, заговор Муравьева. Эсеровская партия в массе своей

перешла в стан контрреволюции, на нашей стороне были горсточки, да и то до поры до времени...

— Это, пожалуй, и верно.

Проводив Капустина до исполкома, он долго плутал по тихим снежным улицам, мешал дело с бездельем: составлял в уме месячный отчет, который пора было посылать в губком; кричал песню про Ваньку Крюшника, доводя до истерики собак, думал о Лидочке... «Ляввы, — это о буржуях, — почему у них столько красивых баб?...»

Павел был падок на любовь.

Еще будучи мальчишкой, завидовал реалистам и гимназистам — в слободке их звали баряжками, — гуляющим с румяными чистыми девчонками. С распахнутым от восхищения ртом, за много кварталов Павел провожал шарманщика с его нарядной, хрипло распевающей подругой. Вечерами бегал к трактиру под окна, слушал гармонистов и песенников, любовался цветными трактирными плясуньями, беснующимися в пьяном аду. Даже в кино он влюблялся в призрачных красавиц, скользящих по полотну, бредил ими в мальчишеских снах, тосковал о них: все они были такие нарядные и красивые, не похожие на тех, что окружали его... После, когда работал на заводе, его сердце захлебнулось горькой, будто угольный дым, любовью, неожиданной ижданной, как находка... Племянница механика, синеглазая Нюрочка... Дядя, проведав об их тайных встречах, надрал Павлу вихры и выгнал с завода, и он — семнадцатилетний парень — сутулясь, прямо из конторы побрел в Сладкую улицу, к красным фонарям, пропивать двухнедельную получку и свою первую любовь.

Павел был молод и жаден до жизни.

Как-то встретил Лидочку на улице, сходил еще раз в театр, и она перебралась к нему с картонками, чемоданами и чемоданчиками. С того дня в его комнате больше не пахло псиной, там прочно воцарился приторный запах пудры, духов и туалетного мыла. Гудящий всеми радостями земли, Павел обрел мудрое спокойствие. Работал Павел в прежнем градусе, угарно и нахрапом брал то, до чего не доходил молодым умом. Лидочка, по обыкновению, разметавшись, валялась в постели до полудня, учила роли, декламировала и, жмурясь на свет, потягивалась:

— Павлик, иди поцелуй меня.

— Ладно, ладно, вставай... Скажи-ка, чему равен квадрат суммы двух чисел?

— Ха-ха-ха...

Попалась как-то Павлу в руки алгебра, такое-то зло разобрало на непонятные рогульки и закорючки, что он сразу навалился на алгебру и в месяц, будто сквозь репьевый куст, продрался через все математические каверзы и теперь с Лидочкой лист за листом гнал начисто. Ее же натрафил заниматься и с Михеичем. Старик не ладил с ней, и частенько их уроки прерывались ссорой. Гневная и горячая, она прибежала жаловаться, швыряла «Правила грамматики»:

— Я больше не могу.

— Опять ты за свои фокусы?

— Не хочу, не хочу и не хочу... Он ужасный тупица и грубиян.

Павел сводил и мирил их.

Вечерами, когда Лидочка уходила в театр, Михеич, по старой памяти, заглядывал к своему другу, еще из-за порога осведомляясь:

— Ушла?

— Ушла, ушла, проходи, чайничать будем. Ты чего-то больно ее не любишь, да и меня забывать стал.

Старик неодобрительно оглядывал чистую комнату. Его вечно распушенные в улыбке губы теперь поблекли и были обиженно поджаты.

— Что не весел, Михеич?

— Так.

В надежде разогнать тягостное молчание, Павел спрашивал:

— Учишься?

— Учусь, — вздыхал старик, — о, аз, о, буки, о, престрашные веди... Посадит меня прямо, чтоб покривления спинного столба не вышло, писать заставит: «Собака лает, корова мычит», вроде насмех...

— А-ха-ха-ха, вот дура... Ничего, катай, учись, ройся глубже...

— Где уж нам.

Молча выпивал Михеич стакан чаю и будто нечаянно ронял:

— Зря.

— Брось, как тебе не надоест одно и то же! — морщился Павел, уже зная, куда клонит старик.

— Сердись не сердись, а я за правду завсегда стоять буду. Не чня она тебе... Нечего сказать, урвал кусочек, спаси бог не позавидовать... Али окромя не нашел бы себе бабу по мысли?

— Была у меня баба...

— Чего ж ты их меняешь, как цыган лошадей...

— Будь ты молодой, рассуждал бы по-другому.

— Я всегда одинаков... Погоди, друг любезный, накладет она тебе в шапку.

Однажды, в минуту особой нежности, со множеством тонких бабьих уловок, Лидочка заговорила о весеннем костюме:

— Павлик, распорядись чекой... Прикажи выдать, у них такая уйма реквизируемых вещей...

— Чего?

— Не велик труд, черкни несколько слов на официальном бланке, остальное я берусь уладить сама.

— Я тебе так черкну, дверей не найдешь...

Лидочка испугалась, расплакалась и больше никогда не заговаривала ни о новых ботинках, ни о тонком белье, ни об угнетающей однообразии стола. С репетиции летела с Ефимом на его холостую квартиру, очень теплую и богато обставленную, брошенную теплым и богатым адвокатом, бежавшим в Сибирь.

Ефим снимал с нее беличью шубку, целовал игрушечные руки и, многозначительно заглядывая в глаза, спрашивал:

— Любишь?

— О-о...

Ефим с Лидочкой создали в Клюквине союз революционных поэтов, художников и драматургов, а таковых набралось в городе до сорока человек. На первом же собрании союз постановил: немедленно ходатайствовать о пайке и приступить к выпуску ежемесячного литературно-художественного альманаха «Мечты и думы».

Из города гулом гром приказов:

Хлеба дров солдат денег за невыполнение взбучка, трибунал.

В степях, лесах, болотах раскатисто ухало эхо:

— О-о... А-а-а... О-уу... Ух... Гони...

Потоки бурных бумажек захлестывали соломенные крепости. Много бумажек, отчаянные сотни, а припев один: «За неподчинение, промедление — кара».

Город корчился в голоде и тифе, отхаркивал ржавую кровь. Хрипящему в

горячке городу предлагалось выздоравливать на ногах. По порядкам бежали нарядчики, шумели под окнами, задернутыми тюлевыми занавесками, звякали кольцами наглухо захлопнутых калиток:

— Хозявы-ы-ы, на очистку путей!

В щели вертлявая тля.

— Мы, батюшка, обыватели, жители тихие, мирные.

— Все одно, приказ, строго.

— Мы, товарищи...

— Без разговоры весь мужской и женский пол в двадцать четыре срочных секунды.

— Хворые, старые да малые...

Охрипшие нарядчики гремели прикладами в калиточный дребезжень:

— Выходи-и-и, передохли, что ли? Выходи на очистку путей!

— Мы, товарищ батюшка...

Под прикладами, как блудливые кошки, вздрагивали и жмурились домишки, но голосу не подавали. Тихие клюквинские жители отсиживались по чердакам и погребцам...

На путях малосильные паровозы вытягивали голоса в ледяную нитку, зарывались в снега, царапались слабеющими лапами, рвали жилы и, всхлипывая, замерзали...

Город метался в тифозном жару. Крупными и жесткими, как гречневая крупа, вшами были засыпаны дороги, вокзал, лазареты и серые мешочки, похожие на вшей.

Вошь атаковала деревню.

Вокзал был завален больными вперемешку с трупами, убирать не успевали.

В тупике несколько теплушек, как березовыми дровами, были забиты мерзлыми раздетыми мертвяками. За городом, в беженских бараках, люди наполовину вымерли, остальные разбежались, разнося заразу по деревням. Покорно вымирала тюрьма. Тиф бушевал в лазаретах, в казармах, на этажах. Была объявлена мобилизация врачей. Из тридцати согласилось работать шестеро. Чека расхлопала двоих, остальные двадцать два присягнули в верности, выбрали чрезвычайную комиссию по борьбе с эпидемиями, поделили город на участки, трягнули воззванием, и борьба началась. Но вшей не держали ни запоры, ни высокие сапоги, ни всяческие предупредительные меры. На кладбище в общие ямы без счета валили мешочников, отпускных солдат, дезертиров, обывателей. Смерть скрутила Чуркина, Сапункова, инженера Кипарисова, умерла Елена Константиновна Судакова.

Был создан летучий санитарный отряд коммунистов. Свой штаб, дежурства круглые сутки. Под лазареты заняли гимназию, церковь, пустующие магазины. Не хватало коек, матрацев, белья — больные валялись на соломе по полу, в коридорах. Мутный, непрерывный бред, крики, стон:

— Пи-и-ить... Пи-и-ить...

Перехворавшая и страшная Гильда нога за ногу брела в продлавку. Часто останавливалась отдыхать, прислонялась к забору или присаживалась на тумбу. Улыбалась солнышку и кланялась ему, как доброму другу.

В кулаке был крепко зажат ордер на усиленный паек:

Селедок 1/4 ф.

Масла подсолнечного 1/4

Крупы 1

Мыла 1/2

Спичек 2 коробки

Пробежала собака, Гильда подманила ее, потрепала по теплой морде, вытряхнула из кармана хлебные крошки. Прошел трубочист, показался ужасно забавным, она расхохоталась ему в лицо, хотела извиниться, сказать, что смеется не над ним, что ей вообще сладостно, весело идти по солнечной улице... Но голова закружилась... Всего на несколько секунд... Когда открыла глаза, трубочист чернел уже далеко, в самом конце квартала. Побрела... Навстречу по дороге, беглым шагом — Гильда удивилась и обрадовалась, как быстро можно ходить! — поспешал небольшой отряд с лопатами и ломом на плечах. Сердце заколотилось в ребра: свои... Слабо пискнула:

— Товарищи... Володя...

Подбежал председатель слободского райкома Володька Скворцов, сдернул рукавицу, поздоровался.

— Ходишь, говоришь?

— Хожу.

— Гляди, девка, а то живо закопаем...

— Теперь раздышусь, не застращаешь... Куда вы, Володя?.. С лопатами?

— Могилы рыть... Видишь ли, чрезвычайная тройка боится, как бы тиф в население еще глубже не пролез: вот и посылает нас во всякую потычку. Могилы роем, с мертвецами нянчимся, саму смерть борем.

Гильда растерянно улыбнулась, а он продолжал:

— Отъелись мы на коммунистических хлебах, гляди, какие гладкие стали, вошь на нас не держится, скатывается, нас не только тиф, чума не возьмет! — Володька засмеялся, махнул рукавицей, бросился догонять своих.

Гильда проводила отряд глазами, светлыми, как сосульки на солнце, и заплакала.